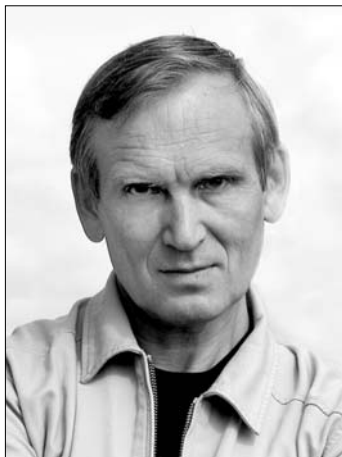


## АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВ



### ЗНОЙ

#### РАССКАЗ

В последний раз дождь окропил степную землю на Троицу, и с тех пор высохло, выцвело небо, ни капли не уронило. Спозаранку из-за лысой пока-той горы взмоет ввысь огненным китайским драконом солнце, нависнет над деревней и раскалится добела. Серебристые ковыли и те никнут под палящи-ми лучами. Людям не в диковину такая сухмень, привычны к знойному лету, но к концу июля возроптали и самые терпеливые. За что наказание Господ-не? Чахнет картошка, выгорают сенокосы, на тощие хлеба глазам смотреть больно. Речушка за околицей едва перекачивается по камням — до запруды, устроенной ребятней в зарослях краснотала. А ниже и вовсе пересохла, не-живая вода едва проблескивает в глубоких ямах. Всею живому в опаленной жаром степи и она — отрада. Всяк к ней, спасительной, нынче стремится: и птица летучая, и зверь бегучий, и гад ползучий. Одна речка оживляет без-брежное волнистое полотно: каменистые, поблекшие маньчжурские сопки плавно перетекают в широкие распадки, усеянные соляными разводами вы-сохших озер. Стекло марево зыбко дрожит, колышется над очерствелой землей — что на недалекую чужбину, что на родную сторонку.

В деревне дом Шишмаревых из всех других выделяется — на косогоре стоит и собой улицу замыкает. Видное и ладное место подыскали ему хозя-ева. Весной хлынут талые воды по склонам, а дому как с гуся вода, только плетень и подмоют. А на великую сушь — колодец есть, большая в этих мес-

---

*СЕМЁНОВ Александр Михайлович родился в 1954 году в Читинской области. Служил в рядах Советской Армии, после демобилизации в 1974 году поступил на факультет журналистики Иркутского государственного университета. Автор книг прозы “Вольные кони”, “Поминай как звали”, “Кара небесная” и других. Лауреат Всероссийской литературной премии имени И. А. Бунина. Член Союза писателей России. Живет в Иркутске.*

тах редкость. Видать, в том месте изглуби пробивается на поверхность чистый ключик. Но напоить досыта может лишь одну семью. На еду его воды Шишмаревым хватает, а на огород, на баню и другие какие нужды пользуются привозной, взятой с водокачки: жесткой и безвкусной.

Хорош дом. Три окна, обряженные резными наличниками, смотрят сквозь черемуховый лист на улицу. Всю деревенскую жизнь видят, а свою скрывают. Василию Шишмареву, хозяину, он от отца достался, а тому — от родителя, посланного сюда утвердить казачье поселение. Век отстоял и еще на один хватит. Крепки серебряного цвета бревна, прокаленные солнцем и морозом. Каким его дед срубил, таким дом и остался. Всего и отличия, что года три назад поменял Василий покوروبившееся листовничное дранье на шифер. До сих пор не может привыкнуть к новой крыше, ненадежной кажется.

У крепких высоких ворот прилажена чуть сбоку скамейка с резной спинкой — причуда хозяина. Да вот только сидеть на ней стало некому. А бывало, приходилось табуретки выносить, как соберутся вечерком бабы — посудачить, мужики — покурить. Очень уж приятный вид открывается отсюда, с косогора, на родную деревню. Ничем неестественному глазу легко и просторно окидывать ее всю разом. Нынче лишь маленький лысый пятачок у скамьи сохранился, затянута все кругом гусиная трава, раньше вытаптываемая множеством ног. Теперь редко кто мимо палисада проходит, да и то с оглядкой. Беда подселилась к Шишмаревым.

В полдень катит по пыльной улице на черном велосипеде почтальонка Катерина, то к одному, то к другому подворью подвернет, не слезая с седелки, сунет в ящик газетку или конверт, оттолкнется рукой от забора и дальше катит. До косогора доехав, уронила велосипед на обочине, сбросила походившую сумку и торопко побежала вверх по тропинке. Крепко запертым воротам поклонилась, изловчилась было быстро сунуть почту в щель, продланную в толстой доске, а они возьми и распахнись. Из внезапно возникшей пустоты надвинулось на Катерину бескровное искаженное лицо: корежатся сохлые губы, плаваются в безумном огне зрачки, отливает могильной синевой переносица. Батюшки светь! Хозяйская дочь! Отпрянула от нее Катерина, да увернуться не успела. Коршуном метнулась к ней полоумная, вцепилась судорожными пальцами в плечо — затрещала по шву тонкая блузка. Полетела в пыль смятая газета.

— Отстань! — подрезанно вскрикнула Катерина и едва успела прикрыть ладонью глаза.

Полоумная вжала ее в палисадник, спиной на заостренные штакетины, хлещет свободной рукой наотмашь. Белугой ревет Катерина, вырывается, а поделать ничего не может — безумная сила навалилась на нее. Страх оковал тело, в глазах все смешалось. Уж и не уворачивается от ударов.

На ее спасение, бежит наискосок по косогору мать сумасшедшей — Валентина, издала вопит что есть мочи. Как знала, что в этот час на дочку затмение найдет. С утра еще приглядывалась, мыслимо, четвертую неделю несут жару стоит. Тут и здоровому голову напечет до умопомрачения. Подскочила она Катерину отбивать, а та, воспрянув, изловчилась, крутнулась на месте, оставила в руках дурочки рукав блузки.

Валентина дочь в спину толкает, за руки ловит, не может сразу сладить, но еле-еле утартала обратно в избу. Катерина на скамейке от пережитого страха и обиды плачет, да еще блузку жаль.

— И-испластала, и-изорвала всю, — причитает она под жарким солнцем, оглаживая свое голое плечо. — Да пропади все пропадом, откажусь вам почту носить, не нанималась...

— Ой-ойёшеньки, что ж она натворила, — присоединяется к ней плаксивый голос Валентины. Она страдальчески смотрит на пухлое, в багровых вмятинах плечо. — Ты уж, Катерина, прости меня, не доглядела. Ну, что взять с дурочки. А за почтой буду теперь сама заходить. И блузку материей тебе возвращу.

Валентина комкает в кулаке оторванный рукав, не зная, куда пристроить, и незаметно подсовывает его Катерине на колени. На ярком солнце слезы быстро сохнут. Всклигнула охрипшим горлом в последний раз, бросила

украдкой взгляд на горемычную Валентину. На дневном свету видно, как по-чернела, остарела лицом молодая еще баба, когда-то первая красавица на деревне. Пристарушилась, набросила себе годков прежде времени. Ну да горе и не таких красивых укачивало. И видючи это, обернула свои страдания на Валентину. Чем она судьбу прогневила, откуда напасть такая свалилась? И помимо воли текут другие успокаивающие мысли: хоть у нее дома все ладно, мужик пить бросил, дети здоровы и корова — молочница. А давно ли завидки брали, как Шишмариха счастливо живет.

— Да что теперь, — вздыхает она, чувствуя, что и дышится посвободнее, и полегче на душе, — иди, тебе надо, а то твоя весь дом перевернет, — и с опаской косится на окна. — Горе-горюшко, опять на нее накатило...

Прикрывая рукой нажатое солнцем плечо, медленно спускается с косогора, и Валентина провожает ее долгим беспокойным взглядом. В избу идти надо, а ноги не несут. Страшно признаться, что сама боится буйной дочери.

С весны третий год пошел, как вползла в Наталью страшная болезнь. И подсекла под корень их налаженную жизнь. С того самого мучительного дня, как привезли дочь из далекого города. Всего-то годок проучилась там, в институте — и тронулась рассудком. Люди в деревне разные догадки строят, кто ближе, кто дальше к истине. У Шишмаревых один ответ — от учебы, мол. Скрывают правду.

С усилием одолевая каждую ступеньку, поднялась Валентина на крыльцо, встала в сенях, прислушиваясь. Беснуется в горнице дочь, рвет и мечет, успокоить бы надо, а как? Не ровен час и на мать набросится. Но делать нечего, надо идти. Ни на чьи плечи беду эту не переложить, до самого гроба нести. Измучила сердце колючая боль, а разделить не с кем. Не у кого попросить помощи. Об убогой попросить у Бога? Да как рассказали, с той поры ни церкви, ни иконы в избе, ни креста на груди. Всех разбожили. Нет у Валентины Бога, есть ли она у него?

Вздыхнув тяжело, запирает дверь на все замочки, садится на стул у окна и следит, как мечется по избе дочка. Пока не выбегается, не успокоится. Надо ждать. Вернется с работы муж, станет легче. Вдвоем, ежели что, повязать дочку можно.

Василий приезжает рано, едва малиновое солнце трогает гребень сопки. Сенокосчики нынче скребут чахлую траву по низинам, у самой речки. Скрипнули распахнутые ворота. Валентина, не выходя встречать, проследила в окно, как он вкатывает во двор мотоцикл, охлопывает себя от пыли, сбрасывает на крыльце пыльные сапоги. И, слышав, как он босиком шлепает в сенях, спешит предупредить, открыть заложенную дверь. Мужик с работы вернулся, а не радостно, как бывало. Мглисто, холодно на сердце.

Наталья притихла в своей комнате, и звук отбрасываемых крючков слышен Василию с той стороны двери. Он ежится, точно за ворот рубахи сыплется сухая сенная труха, медленно переступает порог. На худых щеках вспухают желваки, взгляд тускнеет при виде жены.

— Опять Наталью забрало? — пряча глаза, глухо спрашивает он Валентину и старается не смотреть на светелку дочери. Оттуда доносится треск рвущейся ткани.

— Пикейное одеяло распускает, — испуганно шепчет Валентина, комкая ворот платья. — Откуда только силы берутся. Давеча почтальонку отмузуила...

Василий остановившимся взглядом смотрит на полуоткрытую дверь, наконец, решается и идет к дочери. Завидев его, Наталья спрыгивает с кровати, отбрасывает остатки одеяла, дико вскрикивает и, захлебываясь, лопочет, а о чем — понять не дано.

— Доча, — тянет он к ней руки, но она неуловимым, кошачьим движением отбрасывает их. Слепая безумная ярость плещется в огромных мрачных глазах. Отпрыгивает в угол. Василий пьтится, захлопывает обе створки двери и закрывает на прочный, им самим излаженный засов.

— Деточка, кровиночка, да что же нам делать, искалечится же, — всхлипывает Валентина. На что Василий устало говорит:

— Будто не знаешь что, беги, звони, пока контору на ночь не закрыли.

Валентина, будто только и ждала этих слов, спохватывается, выбегает на улицу. Жара спала, но земле и за ночь не остыть. Сухой нагретый солнцем воздух неподвижно стоит над ней. На бегу она заполошно думает, что по времени пастух вот-вот коров пригонит. А еще огород не полит, муж не кормлен. Но беда подгоняет ее, надо успеть дозвониться до района. Один телефон на всю деревню.

Полпути не пробежала, навстречу машина председателя катит. Обычно проедет, не заметит, а тут не поленился, тормознул, высунул в окошко мордастую голову:

— Ты, Валентина, укороти дочь, а то бабы по деревне страсти разносят! Задохнулась Валентина, никогда прежде не попрекал ее председатель — что вот и в их деревне своя дурочка появилась.

— Так ведь, Иван Митрофанович, не собака же, дочь, на цепь не посадишь, — ответила дерзко.

— Дождешься какой беды, не взъщи, но думай, а то я власть употреблю!

Валентина в ответ лишь рукой махнула и дальше бежать. Прошлой осенью не сумела дозвониться, пришлось двух мужиков нанимать, дочь в лечебницу везти. Дорога не близкая — сорок километров на попутном грузовике. Совсем плохо тогда была Наталья, пришлось даже руки вязать. Будто партизанку, выводили ее из избы, усаживали в кабину. С обоих боков мужики уселись, плечами прижали. Пришлось Валентине в кузове пыль глотать. А дочка возьми да сообрази, даром что помраченная, — конвоиры-то неопытные. Упросила их руки развязать. Они только посмеивались: и, правда, куда ты от нас убежишь? Но едва высвободили Наталью от пут, она как влепит левому правой и наоборот. Машина дернулась, остановилась. Валентина чувствует неладное, слышит — в кабине раздается сопение и кряхтение. Глянула в заднее оконце, а они ей уже руки крутят. Спрыгнула наземь, кинулась разнимать. Осатанели мужики, не было бы ее, отколотили б Наталью.

Торопится Валентина к конторе, сердце заходится. Об одном молит про себя: лишь бы Володька, чернявенький да бравенький милиционер, на месте оказался. Он свой, местный, поймет и поможет. Участковым служил здесь, пока в райцентр не перевели. Последней опоры лишили. Один он выручал, как беда присплет — впадет дочка в буйство, — сейчас же Валентина бежит к нему: помогай. А он безотказный — надо так надо.

В избу войдет, фуражку на гвоздик пристроит, сапоги тряпкой обмахнет, руки сполоснет и чуб казацкий расчешет. Постучит в запертую снаружи дверь светелки.

— Натаха, бравая деваха, на мне красная рубаха, отчего прячешься от меня!

За дверью — радостный визг, шуршанье, стукоток босых пяток. А секунду назад по комнате стулья летали и шторки рвались.

— Счас схвачу, защекочу! — кричит ей и делает вид, что рвет ручку двери.

В светелке еще пуще суматоха поднимается. Будто там не одна Наталья носится, а целый табунок подружек. Наконец, установится тишина — знак, что можно войти. Володька шасть за порог, а дочка уж ему навстречу павой выступает. В белом выпускном платье, в новых туфлях, с бантом на голове, теперь уже коротко стриженной. И вся светится, дуреха, как невеста на выданье. И куда только дурь девается. Валентина, когда ее впервые такой увидела, слезами облилась. Не было на деревне девки краше, не было смысленее, да все — и ум, и красу окаянная болезнь смысла.

У Натальи платье мято, туфли на босу ногу и пряжки не застегнуты, бант набекрень. Смех и грех. А Володьке хоть бы что, хохотнет, выслушав ее тарабарщину, и сам ввернет чепуховое словцо. В разговор свой родителей не допускают, лопочут будто два басурмана. И такое в эти минуты между ними согласие.

Валентине всегда непонятно было, откуда берется в человеке такое понимание, такое душевное равновесие. Родные мать и отец не знают, как с убогой обходиться, а ему никакого труда. Прямо лекарь. Ну да Володька — парень сердцем чистый. Недаром Наталья ни на кого другого и не взглянет. Слу-

чится, обознается, вопьется глазами в окно, забормочет, а разглядит и погаснет. Уйдет в свою комнату, уставится в пустой угол и сидит. О чем думает?

Столько Володька им добра сделал, столько помогал — вовек не расплатиться. Да и чем заплатить-то? Кто бы, кроме него, стал с Натальей возиться, да еще насмешки от деревенских терпеть. А ведь ни разу не отказался, не сослался на службу или какую другую причину. Не через свою ли безработность и потерпел: жена, спутавшись с другим, ушла.

Так вот, посидят они часок друг с дружкой, поговорят на вывихнутом языке, и подыщет Володька подходящую минутку, предложит:

— Эх, Натаха, небесна птаха, и прокачу я тебя на мотоцикле. Поедем?  
— Едем, едем! — эхом откликается она.

Рада-радехонька, что он ее из опостылевшей комнаты на волю вывезет. Сама и вещички соберет, какие скажут, сядет в мотоциклетную коляску и покатит в дурдом, подлечиться. Это и чудно: никто ведь ей о том ни полсловечка, неужто на все заранее согласна, даже на обман, лишь бы с Володькой подольше побыть? Поди тут, разберись. Да и что гадать. Сегодня нормальный человек — потемки, а ущербный тем более.

Запахавшись, Валентина вбегает в контору и, оставляя на свежесмытом полу пыльные следы, спешит прямиком в диспетчерскую. За пультом, на крутящемся стуле сидит Колька Лопатин. У него вся связь в руках, к нему все новости по проводам стекаются. И не только. Кто-кто, а он уж давно знает, что у Шишмаревых стряслось.

— Что, тетка Валя, опять наладилась в район звонить? — встречает он ее насмешкой. — Видать, Натаха-то приревновала почталонку к кому.

От Кольки вреда не увидеть, грех на него обижаться. Это он по молодости лет баламутит, да найдется какая-нибудь, охомукает и поведение его выправит. Валентина ко всему терпимой стала за последние годы, вроде лишили ее такого права — на кого-то обижаться.

— Так нечего и объяснять, раз сам все знаешь. Выручать девку надо, жалко, — держит она слезы близко у глаз, более по привычке — и без них не откажет.

Колька накручивает диск телефона, связывается с девчонками на районном коммутаторе, добивается, чтобы его соединили с милицией. Валентина с надеждой смотрит на него, пытается определить, что там ему отвечают. Но в трубке громко трещит, шелкает, будто кто балуется в степи с проводами.

— Дежурный! Пылев на месте?! — кричит Колька как оглашенный. — Позови, у меня дело срочное. Вышел? Куда? Я откуда? От верблюда. Лопатин я, из Макеевки. Ты там новенький, что ли?

Пожимает плечами, корчит рожу невидимому собеседнику и подмигивает Валентине. Та не знает, расстраиваться или погодить. И недовольно думает, что зря Колька так вольно разговаривает с милицией. Бросят трубку, потом дозвонись. Но тот обрадованно кричит в нее:

— Вовка, ты?! Генерала неужто присвоили, раз не узнаешь. Ну, привет! Жизнь как, не заскучал по нашей дыре? Ну, это ты зря. Давай, приезжай, тут твоя невеста по тебе с ума сходит, — и хохочет, заливаясь, оборот.

Валентина вида не показывает, что сердится на его идиотскую шутку. Не один он такой остроумный в деревне. Всякого уже наслышалась и научилась подковырки мимо ушей пропускать. Решительно рвет телефонную трубку из руки Кольки.

— Здравствуй, Владимир. Не знаю, что и делать, опять моя девка сдурила, — всякий раз одинаково говорит она. — На тебя одна надежда. Приедешь, нет ли? — облегченно вдыхает: — Ну, вот и ладно, вот и успокоил. Когда ждать-то? Одну ночь мы с отцом как-нибудь с ней сладим, — и кладет трубку.

— Едет жених-то? — лыбится конопатый Колька. Забыл уж, как вечерами напролет у их палисада топтался, заглядывался на Наталино окно.

— Да уж он не ты, насмешник, — поджимает Валентина губы, сухо прощается и выходит из диспетчерской. До следующего раза.

Одна тяжкая обуза свалена с плеч, но, спускаясь с крыльца, спохватывается: корова не доена, грядки сухи. И ощущает сладкую тягучую истому

по прежней жизни, когда могла себе позволить неспешно и достойно пройти по вечерним улицам, раскланиваясь с каждым встречным. До того ли теперь, надо еще к Катерине забежать. В сумке лежит отрез тонкого, в розовый цветочек, дорожного батиста. Для дочки берегла, вовремя не пошла, а теперь вроде и ни к чему.

С улицы свернула в проулок к Катерининому дому. Калитку отворила, пряно пахнуло мокрыми грядками с тугой, напоенной водой зеленью. И цветы у Катерины погуще и помидоры покрепче. Так ведь несчастье ее двор не сушит. Вздохнула и кликнула в настежь распахнутую дверь:

— Катерина!

— Иду, иду, — донеслось из глубины двора.

Валентина только присела на завалинку, дух перевести, а Катерина уже тут как тут — несет из стайки тяжелое ведро парного молока. Поставила на крыльцо, освобожденно потянулась и руки фартуком вытерла — увидела отрез.

— Нет, нет, еще чего удумала, — выставила она вперед ладони. — Что мне, надеть нечего? Да и нет у меня привычки на убогих обижаться. Где покупала-то?

Глаза ее, еще секунду назад ленивые, уже ощупывают, обминают шелковистую ткань. И от этого взгляда холодеет у Валентины в груди, но только на короткий миг. Она сердится на себя, сует сверток Катерине в руки и, не оглядываясь, задами, спешит домой. Нечего жалеть потерянное, вон почтальонка какую страсть потеряла сегодня от Натальи.

Вечер пахуч, тепел, как парное молоко. Розовая пыль плавает над дорогой. Пастух Кеша давным-давно пригнал коров, и где-то бродит, беспризорничает ее Зорька. Вся накопившаяся за день усталость отдается в ноги, Валентина невольно замедляет шаг. Подкосила ее болезнь дочки. Знала б загодя, легла бы на пороге, не пустила в треклятый город — казнит она себя. На погибель оторвала от сердца кровиночку, а думала — на счастье. За что такая кара? Неужто за радость и гордость, с какой они растили пригожую да смышленную девочку — надыхаться на нее не могли. Велика ли в том вина? — не хочет соглашаться материнское сердце. Ровно кто сглазил. Как она там — приходит ей на ум — не ушиблась, не поранилась, сидючи взаперти?

После лечения Наталья с полгода спокойна, молчалива. Сидит в доме, задумчиво водит вокруг себя руками. Или бродит из комнаты в комнату, улыбаясь не своей улыбкой. И тогда кажется, что она пошла на поправку и вот-вот выздоровеет. Нет, не иначе голову ей сегодня напекло, эвон, как палило солнце весь день. Уж к каким докторам не возили, в каких только городах не бывали. Три коровы проездили. Ученые светилы разведут турысы на колесах, наговорят мудреных слов, а толку нет. Пропадает девка. Увезет ее завтра Володька в психушку, какое-то время подержат там ее на уколах. Надолго ли роздых? Вернется, сызнова все начнется. Горько знать, что не убудет несчастье. Вцепилось в них лихо, не оторвать.

— Ну, застала, приедет ли? — встречает ее Василий. Он сидит за столом на кухне, подпирая кулаком тяжелую голову, и в потемках кажется, что взор его тяжел и мрачен. Одна Валентина знает, как измаялся и истрадался мужик. Она по-бабьи поплачет товаркам, чуточку да отмякнет сердце, поможет горячая слеза. Он же все в себе носит. Покой нужен изболевшемуся сердцу, горит оно в его груди, спалиться может. Сильный мужик Василий, а и он не выдерживает. Как-то причисывал дочь, задумался да вымолвил: “Лучше бы я с ума сошел”. Что там поняла — не поняла Наталья, расхохоталась, тыча в него пальцем: “Сошел, сошел!” Он виски руками сжал, ушел прочь из дому, допоздна бродил где-то, а вернулся — вином не пахнет. Видать, и оно уже не помогает. Ни на чем их дом теперь не держится, ровно на песке-плывуне стоит. Беда одна да поминки по былому счастью.

— Дозвонилась сразу, утром обещал приехать. Он нынче свободный от дежурств, — спешит успокоить мужа Валентина. Хотя какое тут успокоение, увезут дочь — другая мука: как она там, среди чужих, без родительского присмотра, кто бы не обидел.

— Металась тут из угла в угол, думал, дверь снесет, — докладывает Ва-

силый. — Притихла, как стемнело. Пойду я, мать, огород полью, пока ночь не пала.

Валентина спешит вслед, на поиски коровы, но та уже сама прибрела, встала у поскотины, призывает хозяйку густым обиженным мычанием.

Вечерять они садятся поздно. Сиротливо ужинать вдвоем. В летней кухне вокруг керосиновой лампы роem вьется мошкара, назойливо звенит в тишине. Валентина отгоняет ее полотенцем, и молчание становится еще невыносимее. Кусок в горло не лезет, когда Наталья там голодом сидит. Мать сунулась было к ней с тарелкой, только и добилась, что потерпела убыток в посуде. Совсем осатанела дочь, родных не признает.

Так, слова не обронив, они и расходятся. Валентина спешит в дом, проведать дочку. Василий опускается на теплую ступеньку крыльца и закуривает. Ночь темна, плотна, непроглядна. Лишь небо мерцает сухим звездным огнем. Дождя бы — вздыхает Василий, перебивая тяжкие мысли другой заботой. Откуда-то издали, с ближней к речке улицы, доносятся голоса парней, всплескивает и гаснет звонкий девичий смех. На вершине сопки чей-то протяжный женский голос долго кличет заблудившегося телка. Душно, тяжело. Тоска давит грудь, и табак не помогает. Василий расстегивает на две пуговицы рубаху, глубоко затягивается папиросой.

Сзади слышны тупые удары в стену и слабый голос Валентины. Звуки эти вонзаются в спину, отдаются в сердце. Давно бы уж разорвалось оно от горя, да, видно, есть еще какой запас прочности. Держится на призрачной надежде. Верит Василий в чудо — очнется дочка, придет в себя и все наладится. Наконец в доме стихает. Невыносимая тишина давит на слух.

Осторожно поскрипывая половицами, из сеней выходит Валентина, присаживается рядом, обессиленная и молчаливая. Василию жаль ее, а как успокоить? Неясная вина томит его. Он тушит папиросу, прижимается к ее плечу своим плечом. В ночной, остывающей от пекла степи, подвывая, гудит машина. Молчать опостылело, а в горле сухо, не идут слова. Василий вновь лезет в нагрудный карман, вынимает папиросу, чиркает спичку. Бледное пламя на мгновение выхватывает его худое небритое лицо.

— Я тут, мать, вот что надумал, — выкашливает он горький дым, — может, послушаться нам того врача, из Кисловодска. Все лекарства на эту болезнь испробовали, одно остается средство...

— Стыд-то какой, Вася, — едва слышно отвечает Валентина и все комкает-комкает рукой у горла. От этой недавно приобретенной ею привычки еще горше, еще тоскливее Василию.

— Стыд не дым, глаза не выест, перетерпим, раз иначе нельзя. Вдруг в том спасение наше, — и решительнее досказывает, — я главный разговор на себя беру. Ты не влазь. Утром корову выгонишь, добеги до бригадира, предупреди, что я позже подъеду, дело у меня, мол.

Поднимается и идет спать. Ночь коротка. Сон тревожен. Валентина спит вполглаза, часто вскакивает, на цыпочках крадется к двери спальни дочери, припадает ухом — спит ли.

Утром оба поднимаются с тяжелым сердцем. С нетерпением ждут гостя. Он все не едет, а вот уже девять часов, и солнце всюю припекает землю. Наталья неприкаянно бродит по избе, криво усмехается, наливается буйной силой. Василий вышел на крыльцо, глянул на небо, и показалось — на горизонте сгустилась сизая дымка, и оттуда пахнуло прохладой. И в эту минуту на улице показался мотоцикл с коляской, домчался до дома и с треском влетел по косогору.

— Приехал! — кричит Василий в дом и спускается с крыльца.

Валентина видит, как смугло румянятся щеки Натальи, как отмякает она, и несмело улыбается дочери. Ну-ка, все обойдется? Наталья подстреленной птицей летит к окну, улыбаясь, бежит обратно. И радость у нее какая-то страшная. Горячечно тараторит: слов много, а смысла нет. Одно лишь понятно — Володька приехал.

— Ну-ну, успокойся, чего уж, — успокаивает ее Валентина.

Но дочь нетерпеливо пересаживается со стула на стул, подсакивает к зеркалу, приглаживает волосы. Вспомнив, бросается в свою комнату и цеп-

ляет на шею нитку бус. Наклонив голову, слушает, как гость гремит в сенях умывальником, как поскрипывают его сапоги. И радостно вскидывается ему навстречу. Володька входит — китель нараспашку, фуражка набекрень, и улыбка во весь рот, но глаза не смеются.

— Здравствуй, птица, дай сладкой воды напиться, — с порога балагурит он и черпает ковшом из ведра. — Ни у кого такой воды не пил. Заскучала тут без меня моя Натаха, — косит на нее карий глаз и молодецкато берет под локоток.

На ее выморочном лице гуще проступает темный румянец, она радостно кивает и не сводит с него взгляда. Валентина едва сдерживает слезы. Какая девушка не позавидует ее точеной фигурке, красивому личику. Но без ума и красота не спасает. Повернулась дочь, глянула на мать — как ножом по сердцу полоснуло.

Володька нашептывает что-то ей на ушко, будто не замечая, какое дикое веселье проплескивает у нее в глазах, какой безумной силой переполнено тело.

— Ехал, ехал, елки-палки, к моей Наталке, она воды даст, а чаю пожалеет, — подначивает ее и несет вовсе несуразное, одним им понятное: тыр да быр.

Наталя бормочет, а сама призывно машет рукой матери — угощай гостя, видишь, мне некогда. Ни на шаг не отходит от него. Валентина налаживает стол. Василий сидит в сторонке, поглядывает на парочку и думает: вот неразгаданная загадка, чем он ей поглянулся. Вот бы раньше их свести, когда дочка в полном уме была. Да город поманил и отнял. Теперь поздно мечтать.

Уселись они за стол чай пить, воркуют два голубка. Все замечает Валентина: как дочка украдкой поглядит Володю по рукаву, как пальчиком золотые пуговицы пересчитает, а уж как глядит — засуха материнскому сердцу.

— Кататься поедом? — торопится высказать главное Володька.

— Едем, едем, — зачарованно откликается та, не помня, на какие мытарства он ее опять везет. Соскакивает со стула и бежит в свою комнату собирать. Что за власть он над ней имеет?

Василий, улучив момент, подсаживается поближе к гостю. Володька, промявшись с дороги, не стеснясь, уплетает за обе щеки. Отощал на казенных харчах, да и то — бобылем живет.

— Может, того, по рюмочке? — покашливая, предлагает Василий.

— Да ты что, дядя Вася, — изумляется Володька, — я же за рулем!

— Ну это я так, для смазки разговора, — смущается тот и поворачивается к Валентине: — Ты бы, мать, шла, помогла собраться Наталье.

Отослав жену, с минуту молчит, сцепив тяжелые ладони, дожидается, пока Володька доест яичницу, и говорит:

— Такие вот дела... Куда мы ее ни возили, как ни лечили, все попусту. Теперь, парень, на тебя одна надежда. Ты уж не откажи...

— Угу, — с готовностью перебивает его Володька, — не впервой, не беспокойтесь, доставлю в целости и сохранности.

— Да погоди ты с целостью и сохранностью, — досадливо морщится Василий. — Не о том разговор. Я тебе обскажу. Мы когда на юге ее лечили, один врач посоветовал, ну, чтобы она родила, в общем. Так и сказал: мол, бывает, отходит дурь-то после родов. От нервного потрясения. Так ведь и верно — это же у нее не наследственное. В нашем роду чокнутых никогда не было, ты не сомневайся.

— А что мне сомневаться, я верю, — вставляет Володька и берет за стакан.

— Так это, мы тебя выбрали, — мнет Василий свой подбородок, трещит щетиной. — Она, дикошарая, окромя тебя, никого к себе не подпускает.

— Погодь, дядя Вася, что-то я не совсем тебя понимаю, — медленно произносит Володька и отставляет стакан. — Ты, надо понимать, к тому клоунишь, чтобы я ей ребенка сделал? — округляет он доверчивые глаза.

— Ну а кому же еще, едреня феня, — облегченно выдыхает Василий, довольный его понятливостью. — Ты уж постарайся, век тебя не забудем.



Мы с Валентиной еще в силе, поднимем мальчика. А там, глядишь, и Наталья оклемается.

Лицо Володьки багровеет. Он испуганно смотрит на Василия.

— Да это как же, дядя Вася, разве так можно, — растерянно бормочет он. — Что я, подлец какой, чтобы ее обидеть, она и так обиженная. Нет, не могу и не буду.

— Я же не жениться тебя заставляю, почему ты понять не можешь? Не родит она без тебя, разве не знаешь? — как ребенку втолковывает ему Василий. — Один ты и способен всех нас осчастливить.

— Нет, — неожиданно твердо отрезает Володька. — Я после этого не смогу людям в глаза смотреть, дураков нет, сразу поймут, скажут, что я на дурачку позарился. И так-то несут что попало.

Василий не ожидал такого напора. Себя сумел убедить, а уж Володьку, посчитал, сумеет уговорить. И сразу не отступился, протянул дрожащим от унижения голосом:

— По-человечески тебя прошу — помоги, не дай девке сгинуть. У нее нутро целое, родит и оживеет.

Горит огонь в груди, стыд полыхает, и ровно темная пелена застит белый свет — дожил, родную дочь предлагает. Через себя перешагнул, а ее не берут.

— А если нет, а если дурачок родится? От меня, — хриплым голосом выговаривает Володька. — Нет, я еще из ума не выжил.

Василий потерянно молчит, сказать больше нечего, после всего высказанного остается только в обморок упасть. Или сердце горлом выскочит. Володька это молчание понимает по-своему, вскакивает, натягивает фуражку и выбегает во двор. Мотоцикл его на холостом ходу скатывается по косоугру, стреляет выхлопной трубой и, набирая скорость, несется по улице.

— Упустил парня, старый черт! — прилипает к окну Валентина. — Что ж теперь делать будем?

— Ничего не будем, — угрюмо отвечает Василий. — Сам отвезу Наталью в больницу. Не получился у нас разговор.

Закуривает папироску, и вроде легче становится на сердце — что тем все и закончилось. Из светелки в горницу идет собранная в дорогу Наталья. Ищет глазами Володьку, не находит, но и тени тревоги не отражает ее безмятежное лицо.

— Володя вышел, сейчас будет, — монотонно повторяет она.

— Будет, будет, — вторят ей родители. Как объяснить, что, возможно, она его больше никогда не увидит? Обманывать сил нет.

День за окном наливается безумным зноем. Воздух сух и горяч. Василий возится во дворе с мотоциклом. Валентина беззвучно плачет, отвернувшись от дочери. Одной Наталье весело, беззаботно бродит по избе. Ждет.

## СТАРИК И БЕЛКА

### РАССКАЗ

Высоко, у самой макушки старой лиственницы, там, где тонкие ветки причудливо сплелись наподобие осинового гнезда, что-то едва слышно ворохнулось, и на ноздреватый истаявший снег просыпалась горсточка тонких желтых иголок. Старик, дотоле неподвижно сидевший на скамье, опершись подбородком о полированную рукоять трости, поднял голову и проследил беспорядочный полет запоздавшей жухлой хвоинки, плавно опустившейся у его ног.

В тот же миг бусая белка метнулась на соседнее дерево, оставив в воздухе тающий палево-дымчатый след. Распластавшись на нижнем суку, живо покрутила мордочкой, оглядывая все округ черными текучими бусинами глаз, и замерла, уставившись на человека в старомодной с большими отвисшими полями шляпе, в кожаном потертом плаще до пят и растоптанных ботинках. Но вскоре нетерпеливо и укоризненно поцокала ему оттуда.

— Явилась, не запылилась, разбойница, — ласково проворчал старик, разжимая кулак. На старческой ладони медленно распалась горстка кедровых орешек. Тотчас же белка сорвалась с сука, перепорхнула на лиственницу, на мгновение, всем тельцем прильнув к шершавой коре, скользнула вниз по стволу и прыгнула на спинку скамьи. Быстро перебирая лапками, ловко пробежала по крашеному дереву, перебралась на плечо и, цокнув напоследок, принялась за угощение.

— Белочка, — задумчиво сказал старик, держа ладонь на отлете. И пока зверек, уткнув мордочку, торопливо забирал орешки, затуманенными глазами вглядывался вдаль. В ту сторону, где зло и тревожно багровела полоска заката.

Куда-то в эту цвета перекаленного железа расселину, одному ему ведомую, утекала и его жизнь. Там, представлялось ему, в невиданных пространствах, обитали теперь все те, кого он пережил: старики, ровесники и те, чей срок не вышел, но оборвался. Памяти на все потери ему уже явно недоставало. Оттого, наверное, старик никак не мог вытравить в себе давно поселившееся сиротское чувство.

Ощущение одиночества и потерянности посещало его теперь с каким-то лютым постоянством: где бы он, с кем бы он ни был. А впервые настигло посреди шумной торговой улочки, по которой он неспешно брел к городскому рынку. Мимо, обтекая его по обе стороны, шагали люди, и в какой-то миг он стал растерянно провожать их взглядом, тщетно пытаясь отыскать в пестрой толпе знакомое лицо. Память на лица у него была редкостной. Но в тот час он напрасно напрягал глаза. Ни он не узнал никого, ни его, а ведь были времена — не успевал раскланиваться. С тех пор и начал караулить свое настроение, не поддаваясь ощущению, что очутился в чужом городе и уже не надеется из него выбраться.

Позже пришло горькое, вязжущее мысли понимание, что неуловимо переметнулась сама жизнь — враз из одного измерения в другое. Безжалостно растворив в себе тех, с кем он еще вчера существовал в одном сгустке времени и пространства. И теперь ему оставалось лишь согласиться с неотвратимостью произошедшего или уйти вослед. Не то чтобы это откровение поразило его в самое сердце, но одиночества добавило. Впасть в панику не дали притушенность чувств и отсутствие несбыточных желаний. А потом он принял благость быстротечности жизни, избавляющей человека от отчаяния и от горечи потерь, за данность. И вычерпал в себе без остатка глупые тревоги. Жил себе потихоньку, радуясь каждому наступившему дню.

Шебутной зверек щекотно забирал с ладони орешки, торопился, будто кто отнимет их у него, и эта его поспешность нарушала покой, навеянный вечерними сумерками.

— Белочка, — укоризненно произнес старик, глядя сквозь кованые прутья ограды, как медленно погружается в фиолетовую муть изменившийся в одночасье город.

Город, который он раньше так сильно и трепетно любил, жил теперь своей не очень понятной ему жизнью. Суть ее не изменилась, все шло своим чередом: люди рождались и умирали. И по большому счету было совсем неважно, чем они заполняли свое существование от прихода и до ухода из этого суетного мира. Если бы вновь не стало так голодно и холодно жить в нем.

— Плохонька, да моя эпохонька, — горько усмехнулся старик.

Он ведь было решил, что так и доживет остаток жизни в тепле и достатке. И подумать не мог, что все встанет с ног на голову и даже пенсию перестанут вовремя платить. Прежде, знал он, случались и не такие перевертыши, но одно дело прочесть о том в книжке и совсем другое — ощутить на своей шкуре.

Поначалу он с интересом воспринимал события, поддерживая тем самым угасающий интерес к жизни. Подбадривал себя и других — мол, ничего, и не такое переживали, да перемогались как-то. Ведь, по большому счету, хорошо-то никогда и не жили. А как это — хорошо, он и сам не знал. Смирно претерпел даже введенную, будто в войну, карточную систему: на спиртное, сигареты, продукты и даже на мыло. Пока однажды в центре города не наткнулся на затрапезного вида тетку, торгующую махоркой на развес. Незнамо как вернувшаяся из прошлого, она со стертым безучастным лицом отмеряла граненым стаканом табак таким же хмурым мужикам. И глядя на нее, окончательно уверился, что словно в отместку вернулись мрачные времена и надо чем-то спасаться.

Тогда-то и нашел себе заделье — подкармливать белок, неведомо как перебравшихся из тайги в это опустевшее и не самое безопасное место города. Белки быстро освоились в парке, но не боялись лишь одного старика.

Легковесная пошла у него жизнь, пустая, наполненная зрящими событиями и необременительными делами, которые будто бы и делались только для того, чтобы придать ей подобие прежней. Но себя не обманешь, и старик изо всех сил крепился, убеждая себя в необходимости продолжать существовать хотя бы ради вот этой боязливой белки, которую надо накормить и ободрить ласковым словом. А окружающим его людям, казалось, было все равно, что жить, что помирать.

Вот и сидел теперь в одиночестве на холодной лавочке в пустом городском парке, смотрел на чужой равнодушный город, который когда-то был теплым, уютным, своим, а теперь зиял опасными пустотами. Самые тугие времена прошли, но жители его все еще остерегались появляться в таких вот глухих местах. Старик понимал, что сам по себе город не может быть в том виновен, необратимые перемены прежде произошли в них самих. А затем начал изменяться окружающий мир. И уж потом им стало страшно по вечерам выходить на улицу.

— Хорошо хоть звезды на месте, — сказал себе старик, высмотрев на темнеющем небосклоне проклюнувшуюся звездочку.

Люди, того не ведая, меняли само бытие, напивывая его злом, болью, страхом, отчаянием. И чудилось будто, что эта исторгнутая ими жуткая материя существует теперь сама по себе, втягивая в свое алчное нутро все большее количество народа, и нет от нее спасения.

Старику вдруг показалось, что земля под ногами качнулась, на мгновение искривив окружающее его пространство. Но белка по-прежнему шебаршилась на занемевшей руке, и он устранился своих мыслей. “Ничему тебя, старый, жизнь не учит, — пережив короткое замешательство, подумал он, — нельзя до самых потемок сидеть на кладбище, тут и не такое может померещиться”.

Серым туманом стлались воспоминания, и он, глядя на лафтаки сырого снега, невольно ежился. Старость — зябкое время. Старику было жалко, что кончился этот теплый солнечный день, в щедром сиянии которого так удивительно наблюдать, как над белыми тумбами ограда поднимается ровное свечение. Испускаемый беленым кирпичом свет ранее он относил к оптическому обману зрения, а вот сегодня засомневался. Надгробный камень лежал в основании ограда.

Под ним, в земной глубине, покоились останки людей, живших давным-давно. А в этом поверх затоптанных могил стояли аттракционы, карусели, ларьки. Он хорошо помнил, с каким рвением и молодым азартом крушили старое кладбище люди. И он вместе с ними выворачивал гранитные плиты и кресты, расчищая место под площадку для танцев и разных игрищ. Творимое святотатство тогда не пугало, оно даже поощрялось. Теперь на кладбище, превращенном в парк культуры и отдыха, он пытался схорониться от неотвратимого, да это все равно что прятаться в пустыне. От себя не скроешь — весь как на ладони.

Трепетное свечение угасало вместе с остывающим солнцем и вскоре растворилось в сиреневом сумраке вечера. Оставив в сердце неизъяснимое томление и грусть по чему-то несбывшемуся.

В детстве его часто водил сюда дед, подолгу задерживался у кованых чугунных оград, почерневших крестов, растолковывая внуку, каких фамилий и сословий люди лежат здесь. Немного родных имен запомнил он по тем рассказам, да и те стерлись в памяти вместе с кладбищем. Попытался однажды припомнить, но не получилось. Пребывая в горьком недоумении, отчего так все вышло, не нашел в себе ответа и согласился, что по-иному и быть не могло. Времена поруганных святых оскверняют человека.

Закат на мгновение окрасился алым и вновь на глазах загустел до цвета брусничного сока. Старику стало тревожно и щемяще, как если бы, в самом деле, там, на краю земли и неба, схлопывались небесные створки, оставляя узкую щель, и он знал, что протиснуться в нее ему никогда не поздно. Да вот хоть прямо сейчас. Но даже думать о том позволить себе не мог — не одинок был на этом свете. Дома дожидалась терпеливая жена, беспокоилась из-за его долгих отлучек, да и как не тревожиться, если жила она, пока был жив он.

— Посижу еще чуток и отправлюсь домой, — сказал он белочке, выбирая запутавшиеся в складках кармана остатные орешки, — если не объявится мой человек.

Белка внимательно наблюдала за сложенными в щепоть пальцами. И недовольно фыркнула, когда в очередной раз старик вытянул массивный трофейный портсигар, вынул из него папиросу, привычным движением смял картонную гильзу и, не подкуривая, сунул в рот.

Старик отвел глаза от узкой щели, через которую пробивался свет раскаленного горнила, и угрюмо посмотрел по сторонам: пустынно, одиноко, неприкаянно было округ. Лавку под старой лиственницей надежно скрывали густые заросли черемухи и бузины, и в этот укромный, скрытый от посторонних глаз уголок теперь редко кто заглядывал. Раньше люди шли смотреть белок, но в лихую годину их повывели одичавшие кошки и бродяги, коих развелось тогда в неисчислимом количестве. Теперь, как оттепело, снова стали набредать сюда разные празднующиеся, но их старик интересовал еще меньше, чем занятая зверушка.

Но сегодня один давний знакомец наведался. Он издали приметил его высокую сутулую фигуру, сразу узнал и обрадовался.

— Привет, Петрович, как жизнь? — улыбнулся тот только ему одному принадлежавшей застенчивой и немного виноватой улыбкой.

— Живой, и то хорошо, — немного подумав, ответил старик и протянул раскрытый портсигар.

Он по-отечески любил этого нескладного и не очень везучего человека. Как-то умудрялся он жить, никому не желая зла, притягивая к себе людей врожденной деликатностью, мягкостью, чувством меры. А таким в лихолетье особенно тяжело.

Парень осторожно вытянул из портсигара папиросу, подкурил, пряча огонек зажженной спички глубоко в ладонях.

— Ходил вот по делам, дай, думаю, путь срежу, напрямки через парк пройду, заодно Петровича повидать, — выдохнул он густой синий дым.

Старик глянул в его печальные глаза и вспомнил, как много лет назад сравнил его с конем благородных кровей, волею случая поставленным в конюшню, где в унылых стойлах ютились рабочие лошадки. Рысак понимал это и вел себя подобающе — грыз удила, бил копытом, всхрапывал, покачивая что, мол, тоже при деле. А дел-то было всего — жрать дармовой овес да коситься глазом на лошадок посправнее.

Потом узнал поближе и переменял мнение — с искрой был парень, да вот в жизни себя не нашел. Так зачастую бывает в семьях, где успешные родители как бы наперед вычерпывают талант, удачу и успех, а детям достается отблеск их славы. Бредет такое чадо хоженной-перехоженной дорогой, по пути растраниживая накопленное, а вместе с тем силы, надежды и желанья. Суждение-то свое о нем изменил, а ироничное отношение оставил. Отчасти оттого, что к баловням судьбы относился с предубеждением.

— Случилось что, кислый ты, Игорь, какой-то? — захлопывая портсигар, спросил он его.

— Страдаю.

— Не трать силы попусту, — посоветовал старик.

Игорь подозрительно покосился на старика и обиженно добавил:

— Хожу вот, думаю, как жизнь изменить к лучшему...

— И давно ходишь?

— С утра, как посмотрел на себя в зеркало: где я и где будущее. Работу потерял, перебиваюсь с хлеба на квас, курево и то купить не на что. Жена вот еще ушла... Да и кому я, такой неудачник, нужен. В общем, влачу самое жалкое существование. Хорошо, что хоть прошлое было.

— Где найти нам мумиё, чтоб лечить уныние? — скаламбурил старик.

— Тебе можно надсмехаться, а мне что делать? Все хорошее разом куда-то делось, крутом один развал, бардак и смертоубийство. Вернуть бы сейчас ту жизнь...

— Какую? — меланхолично спросил старик.

— Справедливую.

— А она разве была когда-нибудь на свете, эта справедливость?

— Как же не была, — растерялся парень, — ты же, Петрович, сам в ней жил еще вчера. От каждого по способности, каждому по труду... Мы же все равны были.

— Ты сам-то веришь в то, что говоришь? Или решил потрафить старику, мол, вы такую замечательную жизнь нам построили, а мы ее профукали? — спросил он, глядя в его растерянные глаза.

— Да мне эта жизнь по ночам снится, просыпаться не хочется, — уныло произнес парень и опустил голову.

— А ты проснись, протри глаза-то. Очередной крах переживаем. А всякое великое потрясение и есть отсутствие справедливости. Тебе больше думать надо или читать написанное умными людьми, которые давным-давно из таких вот кровавых уроков сделали вывод — что от этой самой справедливости подальше держаться надо. Она, змеюка, незаметно вползет в тебя, отравит, а топор в руку вроде как сам прыгнет. И тогда во имя справедливости кого только не порешишь, — старик смотрел на парня и не видел его и говорил не ему, а себе, тогдашнему, легко обманывавшемуся.

— Вот от кого не ожидал такое услышать, так это от тебя, Петрович, все, последней надежды лишился. Как же жить без справедливости?

— Нашим салом нам же по мусалам, — поддакнул старик.

— Я к тебе за поддержкой пришел, думал, таким, как ты, голову никакими перестройками не заморочишь. А ты ответил мне, так ответил. Оглушил, одним словом. Полное отчаяние.

— Ты при мне слов таких не говори, — сурово сказал старик, — что ты можешь знать об отчаянии. Любовью спасайся, если любишь кого...

— Я Родину люблю, — оживился Игорь, — и впервые это почувствовал в пионерском лагере, в Крыму. В нем ребята со всего света отдыхали. Я жалел их такой, знаешь, жалостью счастливого человека, что вот не всем повезло родиться в такой стране. И был по-настоящему счастлив.

— Ну, на юге родину чего не любить, там тепло и красиво, цветами пахнет. А ты вот полюби ее такую вот, — повел старик рукой. — Я вчера одного иностранца застал на помойке. Увлеченно фотографирует затхлые задворки, мимо которых и пройти противно. Спрашиваю — смысл в чем, господин хороший? Отвечает — экзотика. Что для них экзотика, для нас жизнь. Я вот одного не пойму, неужели они там у себя так заелись, что их на гнильцу потянуло?

“Отдельно взятого человека трудно любить, легче весь народ сразу, особенно на теплой кухне в ненастный день. А сам-то я чем лучше? — всполошился старик. — Дожил до того, что белок стал любить больше, чем людей”.

И будто кто со стороны быстро и четко сказал ему: “Нет, никуда не делась любовь твоя, теплится под спудом хлада, пепла, горечи и стыда за отчий край — за себя то есть”. Старик потряс головой.

— Через рынок шел, — голос Игоря выплыл в затуманенное мыслями сознание, — вижу, идет меж рядами тетка поперек себя шире с полными сумками, а за ней тощий нищий тащится, будто привязанный. Но близко не

подходит. Интересно мне стало, что ему от нее надо? Поближе подобрался, и аж взялось все во мне — он такими голодными глазами на торчащую из сумки колбасу смотрит. Так бы взял, отобрал, да ему отдал.

— Еще чего, надо бы сразу топором... Хрясь, и нищий сытый, и справедливость восстановлена. И неважно, что у нее там семеро по лавкам...

— Какой топор, я его сроду в руках не держал! — вскричал Игорь, — Я ж только подумал, как ему помочь, из самых лучших побуждений.

— Чего же чужим не поделиться, даже приятно.

— Ехидный ты человек, Петрович, жалею, что к тебе пришел...

— А ты перестань жалеть. Ведь и на базаре ты не нищего, а себя, прежде всего, пожалел и мысленно колбасу ту сжевал.

— Больше я не приду, но напоследок скажу: я тебя уважал, а ты оказался таким же, как все. И даже хуже, ты из-под человека опору вышибаешь, — тусклым голосом сказал Игорь, но с места не двинулся.

— С чего это ты взял, что я такой же, как все? У людей даже цвет волос разный, если не крашенный. Я из-под тебя не опору, гнилые подпорки пытаюсь убрать. Новорожденный еще и пискнуть не успеет, а уже заведомо не равен. Один в ласке да холе будет жить, другой слаще морковки ничего в жизни не попробует. Но это еще ничего, человек может выправить свою судьбу. Сровняться или даже превзойти иного счастливица. Если есть ум и воля к жизни. Нет этого — не обессудь.

Игорь недоуменно смотрел на старика.

— Чтобы ты от меня насовсем не ушел, скажу я тебе, что думаю: каждый рождается с уже заложенным пониманием справедливости, и складывается она из изначально заложенного добра, счастья, любви, из много чего другого хорошего. Но тут же у него по крупице начинают отнимать ему даденное. Причем и родные, и чужие люди. И чаще не по злому умыслу, а только из одного лишь собственного понимания правильности или неправильности жизни. Истошат человека, и бредет он по миру пустой, злой, голодный, как твой нищий на рынке.

— Чего же ты раньше молчал, — горестно вздохнул Игорь, — если все это знал. Делал вид, что живешь в справедливом обществе, позволял обманывать себя ожиданием обещанного счастья.

— А ожидание, оно всегда слаще сбывшегося, — лениво ответил старик, глядя снизу вверх на высокого худого нескладного и несчастного большого ребенка. Он уже потерял интерес к разговору. Больше всего в жизни не любил он поучать, справедливо полагая, что личный опыт чаще всего другим не пригождается, а иным даже вредит.

Расставался он с парнем с тяжелым сердцем. Уж лучше бы вовсе не приходил, не добавлял печали, свою девать некуда.

— Как ты тут сидеть можешь? — неловко сутулясь, сказал тот напоследок. — Жуть берет, каждый куст на тебя будто смотрит и сказать чего хочет. — И тут он был прав.

Весенний вечер истаявал, сумерки забирали город, который старик износил, как одежды.

Старик еще мог отличать ложь от правды и делал это, как он говорил, нутром — и ошибался редко, разве что когда предмет уж вовсе лежал вне его понимания — в запределье. А потому имел свое мнение обо всем, что происходило. Он всегда мог поверить все, о чем бы ни говорили, ведь, в отличие от других, события и люди, их совершившие, были еще с ним. Старик твердо знал, что если даже напрочь перепишут историю, в какой уже раз подгоняя ее под очередную политику, жизнь его переписать будет нельзя. Сделать это он не позволит, пока живой, а когда помрет — кому она станет интересна, его жизнь?

— Это как на фронте, — медленно подумал старик, — где знаешь, что могут запросто убить, а все же не веришь, что тебя. А потом от безмерной усталости, безнадежности или отчаянья, когда наступит край и все в тебе выжжено и пусто, нет-нет да возопит в тебе — да уж скорее бы отучиться.

Время, в котором он сейчас жил, непостижимо напоминало ему то окопное состояние. Холодком обдало спертую грудь — вот он, оскальзываясь на

холодной глине, вытягивает себя на свет Божий из траншеи, чтобы перевалиться за бруствер, и уже готовится в нем страшный смертный нечеловеческий крик, который полетит вместе со всеми такими же окопниками до самых вражеских позиций, до самого конца. Да срывается стоптанный кирзач с неглубокого приступочка, проваливается нога в пустоту, на дно окопа, и в ту же секунду огненный шквал выбривает все узкое, ему предназначенное пространство. И подбирает всех, кто уже бежал по обе стороны этой прозрачной дороги.

И потом, когда он, спасенный нечаянным падением, успел пробежать это мертвое выжженное пространство и свалился во вражескую траншею, и после, когда, оглушенный и помертвелый, лежал на дне воронки, наблюдая, как, словно в немом кино, наклонно падает на него стена опалово-черного огня и дыма, понимание несправедливости происходящего оказалось сильнее страха.

— Да ни о чем таком ты и не думал в этой вонючей воронке, — сердито возразил старик сам себе, — лежал себе, выкашливал из легких гарь, мучился от тошноты и желал одного — забиться в самую узкую щель, чтоб тебя оттуда никто не выковырял — ни свой, ни чужой. И радовался, поди, что больше никуда бежать не надо, лежи, лежи, контуженый, но не убитый.

Плотная сетка ветвей маскировала его от мирной жизни, которая вовсе не была мирной, а только казалась, и это надо было знать, но знание это приходит только с возрастом, зовущимся старостью. Когда уж смерть не то чтобы не пугает, но является привычным атрибутом бытия.

— Да нет же, — осерчал старик, — я из воронки этой на карачках выполз, на полусогнутых побежал ребят догонять, да тут осколком мне плечо разворотило и наземь бросило.

— Повезло, — согласился с ним невидимый собеседник, — а то бы остался там, у болотца, со всеми. Рота-то полегла...

— Не вся, — ответил ему старик, — наполовину... — и только потом всполошился — дожил, заговариваться начал.

Неподалеку раздался хриплый с привыванием лай. Старик глянул в ту сторону и увидел женщину, которая так бы и прошла мимо прогулочным шагом, да собака неизвестной породы покусилась на белку. Длинный поводок вытягивался в струну, дергал ее то влево, то вправо. Короткошерстый белого окраса пес то совался острой мордой в кусты, то влаивал на белку, взлетевшую на ближайшее дерево. Хозяйка пыталась удержать непослушную собаку, но та шаг за шагом упорно тащила ее к скамье. Старик вздрогнул, завидев вытянутую крысиную морду с красными глазами, приносившуюся к штанине.

— Уберите животное, — сказал он даме.

В последнее время люди как с ума посходили, начали заводить собак, на собак вовсе непохожих. Старик у иногда казалось, что псины, имеющие сходство с крысами или свиньями, — следствие неудачных опытов каких-то ученых мерзавцев.

— Это не животное, это собака, — поджала накрашенные губы женщина, — элитной и очень дорогой породы. И я не позволю всякому обзывать моего питомца.

Старик тяжело вздохнул и промолчал. Возражать ей было бесполезно. Люди часто заводили собак от дикого одиночества и любили их нечеловеческой любовью.

— Не любите животных? — сурово спросила дама.

— Я и собак люблю.

— А чем же мой пес вам не угодил?

— Ничем, — скромно ответил старик, поджимая ноги.

Женщине наконец-то удалось оттащить псину от скамьи, и та со злобным рычанием поволокла ее к выходу из парка.

В детстве в его дворе жила простая дворняга по кличке Верный, которую он бы не променял ни на какую другую. Завернув хвост калачиком, рыжий пес летел навстречу хозяину и — это надо было видеть — на его лукавой морде расплзалась самая настоящая улыбка. Больше старик не держал собак.

Холодало, надо было идти домой, но он не терял надежды дожидаться человека, появлявшегося всегда неожиданно и никогда не обещавшего прийти еще раз. Старик чиркнул спичкой, затянулся первой легкой затяжкой, выпустил клуб синего дыма и вдруг явственно увидел перед собой кончик новехонького бильярдного кия, тонкий, точеный, лакированный, с твердой кожи нашлапкой он медленно покачивался перед глазами.

Как тогда, в подвале Дома офицеров, где он впервые встретился за бильярдным столом с незнакомцем, поразившим его мастерски исполненным ударом — положил в среднюю лузу свояка от двух бортов и даже бровью не повел. С тех пор он стал искать встречи с ним, но не для того, чтобы отыграться, а еще раз погрузиться в странные разговоры, которыми испытывал его этот молодой человек со старчески усталыми глазами.

Старику иногда казалось, что собеседник нарочно подначивает его, чтобы вынуть из него последние скрепы, без которых рассыплется все им прожитое, а настоящее станет вовсе несносным. Но странность заключалась и в том, что сам он желал этой невыносимости. Понимая при этом, что, испив чашу до дна, не обнаружит там ничего, кроме мутного осадка.

“Как это он тогда сказал, — задумался старик, — выпьешь вина, просыпается вина...”

Всякому человеку отмерена своя доля страданий. И чем больше мук переживает, тем скорее теряется жалость к ближнему. На войне он на себе испытал, как ослабевает главный нерв жизни. А без сострадания какая любовь выдержит испытания жизнью. Старик споткнулся, запутавшись в своих рассуждениях. Если все держится на любви, как из нее выделить эту могучую составляющую. И тут же рассердился на себя, за свою старческую немощь, подточившую его ясный и острый ум.

Он вновь вернулся к прерванному разговору, в котором никак не мог одержать верх.

— Вы полагаете, быть счастливым — значит обладать всеми возможными благами, какие только есть. Но на всех благ не хватает, следовательно, априори, счастья нет.

— Если все не могут быть счастливы, пусть хотя бы будут равными.

— Равными по несчастью?

— Получается, что так. Вот где корень случившихся и грядущих катастроф.

— Странно, что вы это сразу ухватили. Вашему поколению трудно принять даже то, что человек никогда не будет счастливым...

— Разве что отдельно взятый и на короткое время. Быть постоянно счастливым — идиотизм какой-то.

Старик сожалел, что ввязался однажды в пустой и никчемный разговор, из которого если бы и вышел победителем, но как если бы победитель этот был похож на побитую собаку. Незнакомец взял его тем, что за словом в карман не лез и нанизывал их быстро, умело, будто вышивал бисером. В сутолоке бестолковых времен старик растерял подобных собеседников, а потому так неосторожно сблизился с этим человеком. А когда раскусил его, было поздно — увяз в сомнениях и стал злиться, что никак не может одолеть ловкого упряма. Оказалось, тот и понятия не имел, что в споре нельзя человека бить наотмашь только за то, что он не соглашается с твоими убеждениями, а тот делал это и едва ли не с наслаждением. Впрочем, убедив собеседника в своей правоте, также легко отказывался от своих слов.

Даже ему, закаленному в спорах бойцу, становилось не по себе от его циничных рассуждений, которые сам он иногда допускал в подобных разговорах, говоря, что они придают им перцу, но делал это как бы понарошку. За что боролся, на то и напоролся. Собеседник его не думал и не гадал, а говорил и делал так, как считал нужным. Неуютно становилось от мысли, что его тянет к нему по одной простой причине — схожести характера.

Воспоминания прервала вернувшаяся белка, порывисто сновавшая по скамье в поиске оброненных орешков.

— Человек и живет-то одним запасом счастья, полученным в детстве, сколько дали — столько и останется. Добавится после немного, — сказал



старик, подслеповато глядявываясь в отцветающие, недоступные пространства глазами, сохранившими зоркость лишь в своей глубине.

Скрытое проявлялось всякий раз, как он уходил в себя, отгораживаясь от обыденного. И тогда, казалось ему, на небесной ткани проступали непонятные, но твердо выписанные знаки. Ни смысл их, ни кому они начертаны, он разобрать не мог. Небеса были немилосердно загажены гадкими дымами города.

“Лучшие времена остались там, на войне. Ты был нужен ей, а она тебе. Потому это и была настоящая жизнь”, — выписалось ему мгновенным огненным росчерком.

У старика перехватило горло. Ему не хотелось признаваться себе, что, вернувшись с фронта, он так и не принял мирную жизнь, которая оказалась совсем не такой, какой он ее представлял в окопах. А ведь смирился и жил, как все те, кто побывал в том измерении, на грани жизни и смерти, безысходно и обреченно понимая, что выбирать не приходится. Но и жить одним прошлым не мог, к старости окончательно убедившись, что война есть нечеловеческое деяние. Только о том ни с кем и никогда не говорил.

— ...или все же говорил, — пожевал он сухие губы, — потому и один здесь сижу. Без товарищей.

Небесный огонь перехватился пеплом, и старик вновь устало опустил подбородок на отполированную рукоять посоха.

Человек, которого он так долго дождался, был гораздо моложе его и острее чувствовал значение нагрянувших перемен, но вряд ли понимал их бессмыслицу так, как понимал это старик. Прожитое помогало ему иногда предугадывать события, и он воспринимал это как данность, с которой надо жить, но нельзя ею пользоваться.

Снизу, с улицы Подгорной, донесся насадный трубный рев автомобиля и отвлек старика. Он взгляделся в конец аллеи и уверовал, что тот, кого он ожидал, теперь уж точно явится, для него пробил дорожку разломавший на куски тишину дурной звук. Он всегда появлялся вдруг, как черт из табакерки. Возникнет ниоткуда и канет в никуда.

На этот раз старик хорошо подготовился к встрече и знал, как ему продолжить оборванный недели две назад разговор. За это время он хорошенько все обдумал, подобрал необходимые возражения, которые ему казались безукоризненными. Да что казались — он был уверен — он был уверен в том, что камня на камне не оставит от убеждений противника. Тем более, жизнь показала, что далеко не все, о чем так убедительно вещал собеседник, оказалось правдой.

— Хотя какая же это — правда, если за неимением ее сходит всякая ложь, — вслух сказал старик, раздражаясь от мысли, что вот, так хорошо подготовился, а он возьмет и не придет.

Белка вскарабкалась по рукаву на плечо, цокнула для острстки в угрюмо чернеющие поодаль заросли непроходимой бузины и метнулась на дерево. Выбрав угощение, она, как обычно, оставила на ладони несколько орешков, неподвластным человеку нюхом отличая пустые и порченые от цельных и ядерных. Старик стряхнул с ладони негодные орешки и застыл, припоминая одного редкого человека, способного подобно белке отличать настоящее и отсеивать ненужное — он будто обладал своим особым внутренним взором, позволяющим ему сразу и безошибочно, пропуская через сердце, определять, достоин или нет человек.

— Пустое время, — сказал он негромко, но ему тут же откликнулся знакомый хриплый басок:

— Ну, не скажи, Петрович, во всем есть свой смысл, даже в пустоте.

Старик обернулся и увидел, что за спиной стоит тот, кого он давно поджидал.

— Подкрался, как тать, стоит, подслушивает, — в сердцах проворчал он, досадуя, что дал застать себя врасплох.

Гость одним движением обогнул скамью, расположился рядом и, как ни в чем ни бывало, сказал:

— Здравствуй, Петрович, давненько не виделись. На чем это мы с тобой прошлый раз остановились? На том, что война была для тебя лучшим време-

нем. Потому что ты был нужен ей, а она тебе, — сказал он надтреснутым голосом. — Это до какой же пропасти надо довести человека, чтобы вся оставшаяся жизнь была для него пресным, скучным, невыносимым занятием?

— Тебе этого понять не дано, — начал подбирать слова старик, но прерыви не хватило, и собеседник перехватил инициативу.

— Отчего ж не дано, вот только мое знание отличается от твоего. Но прежде давай договоримся, что твоя война не важнее всех других войн. Иначе мы так далеко не уедем. Любая война — прежде всего грязь, кровь, а уж потом подвиги, победы, ордена. И твоя война отличается, скажем, от моей лишь размерами.

— Моя — Великая Отечественная, — просипел старик, у которого от возмущения перехватило горло, — я Родину защищал, когда вас, сосунков, и в проекте не было...

— Войны бывают разные, а страдания одни. Все мы из одного теста слеплены, у тебя тогда, а у меня недавно, осколками посеченные нервы одинаково вошли. Но как-то наши малые войны помогли зарубцевать раны той большой.

Старик с подозрением посмотрел на сидящего рядом человека. В рассеянном сумеречном свете ему показалось, что разговаривает с призраком. Никогда его собеседник не выглядел таким бесстрастным, холодным, бледным до синевы.

— Вот только люди не стали добрее и справедливее. Однако, чем дальше от войны, тем сами себе милосерднее кажемся. И все-то правильно делал: и когда наступал, и когда отступал, убитых жалел, живым радовался, раненым водички подносил... Главное, вернулся — грудь в крестах, а если голова в кустах — да было ли это... Ты в моем возрасте что же, вот такой мудрый, добросердечный был? Тоже, поди, зажигал, мама не горюй! Ни врага, ни себя не жалко. А как иначе — ни самому не спастись, ни других спасти.

Старик не знал, что ответить наглецу, и только глядел на него в упор казавшимися из-за толстых стекол огромными глазами.

— Я уже и так, и этак сравнивал, вывод неутешительный — человека не изменить. Можно только лоск поверх него навести. Потереть замшевой тряпочкой, дохнуть, чтобы отпотел, и еще раз пройтись. Но он вскоре опять тусклый да грязный.

— Как ты смеешь, — свистящим шепотом сказал старик, — мы за победу столько жизней положили, лучших сынов отдали, а ты саму память о них хочешь испоганить. Бессовестный ты человек...

— Не совести ты меня, я поименно родичей, побитых на той войне, помню. Но столько жизней, — выдохнул он, — уму непостижимо, сколько... Я тебе хочу рассказать историю одну из моего боевого прошлого. Занозой сидит во мне. Мы тогда под Кандагаром стояли. В аккурат под Новый год прислали нам с пополнением молоденького лейтенанта. Мы калачи тертые, видим — не обстрелян, не обмят, тонковат в кости, глаза шибко умные. Интеллигент, одним словом. Не то чтобы не приняли, но и не приближали. Да он и сам как-то особняком держался. Ждали, как он себя в бою покажет. А он раз сходил на боевые, другой, сам жив-здоров, бойцы в целостности-сохранности. Возвратившись, докладывает, что “духи” не появлялись, боестолкновения не было. Мы в толк взять не можем, в чем дело, разведка точно показывала, что должен был пройти в том квадрате караван, нет там другого пути. Начали выяснять, оказалось, что лейтенант со своими бойцами еще на тропе, на подходе к позиции, возьмут да шумнут как бы ненароком. И выкажут себя. А в горах много шума не надо, звяк-бряк — и нет противника. Прознав о том, ошалели сначала, а после взяли лейтенанта в оборот. И трибуналом грозили, и срамили, и унижали, а он стиснет зубы, желваки катнет и стоит на своем — ни за понюх табаку солдат терять не стану. Офицеры здороваться перестали с трусом. До того парня довели, что он даже питался от всех отдельно. Я, грешным делом, думал — не выдержит, застрелится. Но по большому счету придаться было не к чему: службу несет исправно, уставы соблюдает, вот только с боевых возвращается без потерь и без трофеев. А у нас, что ни бой — убитые, раненые.

— Предатель и трус, — медленно сказал старик, — и говорить тут не о чем. За невыполнение приказа у нас на фронте таких к стенке, и весь разговор.

— Я ему слово в слово то же самое в неприличных выражениях высказал. А он лишь побледнел от унижения, повернулся и пошел. Потом нашего изгоя потихоньку отправили в Союз, от греха подальше, и забыл бы я его, вычеркнул из памяти, если б меня однажды как током не дернуло — а если был прав он, а не все мы.

Потрясенный старик невидящим взором смотрел на человека, с которым он познакомился за бильярдным столом и проиграл ему несколько партий кряду, что прежде с ним, классным игроком, никогда не случалось. Тогда он, потрясенный проигрышем и сетуя на свое плохое самочувствие, не оценил блеска, с которым играючи расправился с ним неизвестный ему штатский с военной выправкой. И много позже, когда сошелся с ним в словесном поединке, понял, чего ему тогда не хватило — страсти и отсутствия боязни потерпеть поражение.

— Ты сам-то веришь в то, что говоришь, — разомкнул упрямо сжатые губы старик, — не можешь ты, боевой офицер, так считать.

— Знаешь, совсем не важно, что я думаю, важно то, что за этого лейтенанта до сих пор матери по всей России молятся и свечи за здоровье ставят. Потому как он им сынов сохранил, а не скормил шакалам, геройствуя. И больше того, позволил продолжить род и тем самым большую укрепу стране дать, чем вся эта странная война за счастье афганского народа.

— Злой ты, — поежился под зябким ветерком старик, — и значит, не можешь такое понять и простить. Не верю я тебе.

— Да и не верь, один ты, что ли, друзья-однополчане меня тоже слышать не хотят, а добрая половина скоро и руки не подаст, если убедится, что это не мой очередной заскок от пьянства или перенесенной контузии. Только и я своих пацанов старался оттуда целыми вытянуть и до мамки доставить, да всех не получилось, — протянул он с какой-то волчьей ноткой в голосе. — Как же вытянешь, если у них там за каждым камнем Аллах, — выцветшие глаза его на мгновение приобрели растерянное выражение.

Старик покачал головой и подумал, что если бы он знал, к какой душевной сумятице приведут эти разговоры, ни за что бы ввязался в них. Но уж очень хотел показаться, насладиться умной беседой. Разве он мог подозревать, что его собеседник так далеко зайдет в вещах, о которых ему рано задумываться — не перекипел еще.

— Так и с нами там Бог был, — задумчиво протянул он, — только мы этого не знали. Я точно не знал. Мы как-то на караван пошли, ночью сбросили с “вертушек” на скалы, к утру позицию заняли. И был у меня во взводе паренек, обычный такой, неприметный... Помню только, что нос в конопушках, брови белесые, то ли на солнце выгорели, то ли от рождения. Воевал, будто работу делал, надежно и основательно. Так вот, караван уже в ущелье втягивался, я по сторонам глянул, вижу, сидит мой пулеметчик за камнем и крестится. И, знаешь, лицо у него такое отрешенное, спокойное и твердое, что я уверился — так и надо. Потом такой крутой замес вышел, что я и думать забыл обо всем на свете. “Духи” нас обошли и сбоку ударили, как раз там, где я своего пулеметчика посадил. Не он бы, всем нам каюк, а так отбились и караван накрыли.

— Живой, — пошевелил бесцветными губами старик.

— Кто, пулеметчик? А что с ним делается? Он и после из всех переделок без царапин выходил, молитвой спасался. Ранило его легко уже в конце службы, осколок пробил каску, рассек голову.

— Ну, тебя-то там точно не Бог уберет, — сухо процедил старик и получил в ответ:

— Кабы знать, за какую малость прощен будешь... Может, и не вспомнишь даже, а на небесах тебе зачтется и перевесит все грехи твои тяжкие.

Старик собрался было возразить ему в своей обычной манере, но передумал. Не то чтобы своими рассуждениями тот поколебал его твердыню неверия, скорее оттого, что исчерпал обычные аргументы.

Старик в Бога не верил. Для него это состояние было естественным. Внутренне он всегда напрягался, когда при нем говорили о вере, но не возражал, полагая, что каждый имеет право выбирать себе опору в жизни. Его всегда смущало то обстоятельство, что в прежней, старорежимной жизни столько блестящих умов и благородных сердец были религиозными людьми.

Может быть, и я поверил бы, — сказал он себе, — да война выжгла много доброго, а после нее, чтобы восстановиться, потратил слишком много сил. Или мало? — смеялся старик.

В церкви он впервые побывал в прифронтовом городке, где формировались армейские части. В памяти от тех дней только и остались что суматоха и нервная усталость. А вот то, как старшина по темноте привел роту новобранцев на помывку в баню, запомнилось навсегда. Тусклый свет лампочек едва освещал тесное помещение. Мокрый туман плавал под крутыми каменными сводами. Опрокидывая на себя шайку воды, он задрал голову и увидел, что со стен на него взирают лики святых, покрытые крупными светлыми каплями. И только сейчас понял, что моется в храме. Его товарищ, владимирский паренек, понял это раньше и, склонив голову, что-то беззвучно прошептал, кажется, молитву. А потом произнес вполголоса: вместе с ними и о себе поплакал. А вот жив он или убили — вспомнить не смог. Хрупка, коротка жизнь человека — вдох-выдох, и вот уже растворился в небесах.

Старик было уже решил, что ему не стоит обижаться на этого колючего, неудобного человека, так упорно разрушавшего его устоявшийся мир. То же ведь хлебнул мурцовки. Собеседник его молчал, хмуро и отрешенно смотрел прямо перед собой, будто решая, какие еще силы бросить в бой.

— Стихи вспоминал. “В красном сне, в красном сне, в красном сне бегут солдаты, те, с которыми когда-то был убит я на войне...” — неожиданно продекламировал он хриплым голосом. — Так мог только повоевавший написать.

— Таким голосом только команды отдавать, а не стихи читать, — сказал старик, понимая, что разговор близится к концу, но не удержался и добавил: — А всю правду о войне ни тебе, ни мне никогда не узнать.

— А правду и нельзя обнажать до исподнего, голая правда может до смерти перепугать.

— Эх тебя забрало. Тебе-то чего бояться, себя разве что...

— Всегда есть чего бояться. Один человек мне рассказывал, что, целясь себе в висок, зажмурился, чтобы пороховые газы не попали в глаза. Приблизительно то же испытал я, когда танки по Белому дому душили.

Старик несколько минут потрясенно молчал, затем перевел дыхание и дрожащим голосом спросил, будто попросил милости:

— Ты, что же, и там повоевал? Я, увидев по телевизору танки, бьющие прямой наводкой по своим, заплакал, а с меня слезу выжать....

— Не воевал, а вводил порядок, — сухо ответил тот.

— Ты соврешь, не дорого возьмешь, — сказал старик, глядя поверх очков слезящимися глазами, — Ты, поди, и про Афганистан все выдумал, и про Москву.

— Жизнь не выдумаешь, она тебя так выдумает, мало не покажется. Ведь ты сам только что говорил, что за невыполнение приказа — стенка. Только в моем случае — трибунал. Живу все это время с ощущением — будто это я на своем горбу войну через границу перетащил. Гнилое время, — выругался он, — а жить надо, детей надо учить, а чему и на что...

— А что, теперь без денег не выучить?

— Я не о том. На что учить — на жизнь или на погибель. Что спасать вперед — живот или душу, — жадно спросил он, и старику впервые за все знакомство показалось, что в его стальных глазах мелькнула тень растерянности.

— Бог не выдаст, свинья не съест, — только и нашел, что сказать старик. Да и что тут скажешь, никто еще никого жизни не научил.

— Попрощаться пришел. Все, шабаш, приказ пришел, уезжаю, — вымолвил он. — Недовоевал, недослужил, денег и тех не заработал, одни ордена страны, которой уже нет.

Старик знал, что они никогда больше не увидятся, и проводил его долгим тоскующим взглядом. Офицер уходил легким скользящим шагом и скоро скрылся в угрюмой полутьме старых деревьев.

Поверху широкой плавной волной прошел ветер, пригнул и распрямил вершины деревьев. Закатное небо напоследок окрасилось светом красного золота. Пахло ивовой свежестью, горьким дымком и еще каким-то давно забытым весенним запахом, от которого у старика защемило в груди. Как мелко были его огорчения, неуместны стенания и бесполезны переживания по сравнению с жизнью, плавный поток которой могуче и неудержимо тек во времени и пространстве.

Белка ткнулась холодной мордочкой в руку и замерла. Близко вскрикнул тонкий лед на подмерзшей лужице, и тут же послышались чьи-то легкие шаги. Старик поднял глаза и увидел, что перед ним стоит девочка в розовом пальто и черных лаковых ботиночках. Нарядная кроха, наклонив голову в аккуратной шляпке, с любопытством смотрела на него.

И он постарался улыбнуться ей своей прежней щедрой обворожительной улыбкой. Девочка наморщила носик, отвернулась и спросила:

— Мама, а кто этот страшный дедушка?

В ответ донесся сочный ленивый голос:

— Деточка, это посторонний человек. Отойди от него.

Элегантная молодая женщина вышла на тропинку и нетерпеливо сказала:

— Пойдем отсюда, я же говорила, что здесь нет ничего интересного.

— А посторонний — он какой?

— Чужой.

— Чужой — значит ничей? — упорствовала девочка.

— Да откуда же мне знать, — похолодел женский голос, — пойдем, папа в машине ждет...

Девочка шагнула назад, но тут же изумленно вскрикнула:

— А у него из-за плеча белочка выглядывает!

— В городе белки не водятся, — назидательно сказала женщина и замолкла.

Белка порскнула на лиственницу, плавно перелетела на соседнее дерево и скрылась в гуще ветвей. Девочка зачарованно смотрела вверх.

— На, дай дедушке денежку, — торопливо сказала мать.

— Он бедный, да, ему кушать нечего? — по-взрослому рассудила девочка.

— Он не бедный, он бедненький, ничего в жизни не видел и уже не увидит, — вздохнула женщина, взяла за руку дочь и повела на протяжный трубный звук автомобильного клаксона, несущийся из-под горы.

Старик с рассеянной улыбкой смотрел им вслед, сохраняя легкое прикосновение теплых детских пальчиков, и не сразу обнаружил в руке свернутую трубкой денежку.

Тяжело опираясь на трость, поднялся со скамьи и медленно, загребая ботинками оттаявший палый лист, двинулся к выходу. Огибая черемуховый куст, отвлекся на мелькнувшую стороной белку и оскользнулся на замшелом бугорке. Пласт перепревшей земли расплзся под ногой, обнажив обломок серого надгробного камня. Сумей старик рассмотреть в сумраке, на какое препятствие наткнулся, может быть, и вспомнил, как на этом самом месте он по складам повторял вслед за дедом высеченную на граните надпись: "Здесь покоится купец I гильдии..."